

Вақим

Сафонов

1

Вақим Сафонов

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**

Вацис Сафронов

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

Вацим Сафронов

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДОРОГА НА ПРОСТОР
Роман

МЕХАНИК ВЕЛИКОГО ХУДОЖЕСТВА
Повесть

Маленькие
повести
и рассказы



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Предисловие автора

**Оформление художника
Г. Ш и п о в а**

© Предисловие, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1982 г.

4702010200-191
С 028(01)-82 подписное

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Говорить о себе и легко, и очень трудно — какой же себе судья? Есть одно преимущество: вернее расскажешь читателю, взявшему книгу, как пришел к той или иной написанной вещи — как возникла она и *зачем* написана.

Я родился в Керчи в начале века, уже идущего к концу, — в 1904 году 14 декабря по старому стилю.

Дед, Платон Федорович, крепостной в имениях Кочубея под Херсоном, после 1861 года, то есть после «воли», перебрался в Крым — ходил слух о дешевизне татарских земель на Керченском полуострове.

В семье деда — девятнадцать душ детей. Только их всех вместе не было никогда: косили оспа, дифтерит, скарлатина — крестьянские болезни старой деревни, где не знали врачей, а до фельдшера ехать верст двадцать. Выжило четверо, лишь старший, давая уроки с пятого класса керченской гимназии, куда он был определен приготовишкой на пансион к учителю, добился возможности учиться дальше и стал инженером.

То был мой отец Андрей Платонович.

Он участвовал в изысканиях и постройке многих железных дорог. Строил мосты. Еще в институте инженеров путей сообщения сдружился с семьей Михайловских. С младшим братом, Михаилом, учился, а Николай, семнадцатую годами старше, уже был знаменитым путейцем. В 1898 году Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (под именем «Гарин» этот исключительно талантливый русский человек стал широко известен как писатель) при-

гласил отца в Корею, в исследовательскую экспедицию — своим помощником и начальником второй из двух партий: он уже знал отца и по совместной работе на постройке Великого Сибирского пути — Средне-Сибирской дороги. И в записках Гарина не раз упоминается об отце (см., напр.: Н. Г. Гарин. «Из дневников кругосветного путешествия». М., Географгиз, 1949).

Отец тогда и сам написал свои корейские записки. Осенними вечерами, в слабом кружке света от керосиновой лампы, он читал их нам, и думалось, что ничего интереснее мы не слышали и не читали. Записная книжка эта, в темной коже, погибла вместе почти со всем, что было у родителей, и больше некому судить о том, что мы слышали.

Родня отца, в большинстве, осталась деревенской.

Венчались родители (отец — вторым браком) в пестроцветном ялтинском соборе, — отец участвовал опять, как помощник Гарина, в изысканиях южнобережной железной дороги, так и не построенной. Был жив Чехов. Родители оказались с ним на одном пароходе, когда, через Севастополь, он уезжал навсегда — в Москву, а оттуда в Баденвейлер. Сильно качало, Чехов страдал от морской болезни; вышел в кают-компанию и, проглотив несколько ложек супа, ушел к себе...

А шафером на свадьбе был родной брат Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, товарищ отца, тоже инженер-путеец Константин Книппер.

Моя мать, Ольга Ивановна, происходила из керченской городской семьи, такие семьи населяли узенькие, многоярусные, с запахами кухни и пологом дикого винограда дворики Греческой улицы. Один брат матери, военный врач, внушавший робость нам, детям, ростом, очками, решительным голосом, ежедневно проезжал на дрожках мимо наших окон в лазарет. Другой — в Москве, он, мы знали, работает в аптеке «у самого Феррейна». Ближе, чем эти родные дяди, были нашей семье материнские двоюродные — три сестры-учительницы, в их низкой, тесно заставленной квартирке с окошками над самой землей; с детства помню фотографию лейтенанта Шмидта посреди множества всяких семейных, развешанных веерами на стене, как тогда полагалось.

Квартирка помещалась в Морском агентстве, там служил четвертый член семьи — их тихий, молчаливый брат. Больше всего гордились близким родственником — капи-

таном нового, красивого парохода «Цесаревич Алексей», потом переименованного в «Пестель». Мне, восьмилетнему, случилось поймать обрывки приглушенных уюминаний еще о какой-то загадочной родне, отчаянных мореходах, пересекавших море на фелюгах, груженных контрабандой «с того» (турецкого) берега, — и я с особенным вниманием приглядывался к дедушке, сухонькому, морщинистому; заставая его обычно сидевшим в глубоком залосненном кресле под картиной «Падение Константинополя» на своей Греческой улице, я тщетно пытался вообразить его молодым. (Все это отразилось позднее в рассказе «Женитьба Ставро», его я написал, вновь приехав в Керчь в 1930 году, еще не думая о печати...)

Тут, верно, уместно сказать в нескольких словах, как жили тогда, напомнить внешние черты быта, так непохожего на нынешний городской. Не было, разумеется, ни электричества, ни водопровода — по булыжной мостовой громыхали бочки водовозов «дангалаков»; когда же они исчезли, пришлось уже самим с ведрами и коромыслами отправляться за несколько кварталов в очередь «на фонтане». Полкухни занимала русская печь. Утром и вечером гудела и пела, раскаляясь, розовея, труба над самоваром, древесный уголь разжигали лучинами. О телефонах в быту почти что не слыхивали — вероятно, не поняли бы, зачем они нужны.

В голод и разруху горели только ночники, при огоньке не ярче лампадки зимой двадцать первого года я прочитал четырехтомного, в два столбца павленковского Белинского.

В нашем доме был полуукраинский уклад. Все любили петь, запевал отец. Песни прежде всего украинские — они казались лучшими в мире. «Вечера» и «Миргород» Гоголя, «Кобзаря» Шевченко знали чуть не наизусть. Отец, человек твердый, временами даже крутой, не выносивший никакой лжи (и притом, или как раз поэтому, доверчивый), был шутлив. На память целыми кусками он читал «Энеиду» Котляревского — так, с детства, мы заучили ее.

Ореол окружал имя Некрасова.

Я рос с сознанием святости и благородства крестьянского, земледельческого труда. С пристальным вниманием ко всему, что растет, зреет, множится на земле. Основы личности закладываются рано. Отсюда, конечно, и увлечение биологией, да и те книги о полях без обмеж-

ков, о цветущих и плодоносящих садах, что я через несколько десятилетий написал.

Навсегда сохранилось и совершенно особенное отношение к морю. А железную дорогу, поезд, с детских лет облекла романтика, и, сколько ни пришлось потом летать, в сущности, ничего для меня, как ни странно, не изменилось тут — на первом месте так и остался поезд.

Отец, слепым стариком, умер в Ялте через неделю после вступления гитлеровцев. Мать — через год, совершенно одна, зимой, в комнате с выбитыми стеклами. Так развеялись следы их...

Надо гордиться своими корнями, людьми, от которых идет твоя жизнь. От них в тебе гораздо больше, чем, может быть, сам ты думаешь.

Семья в моем детстве, до окончательного возвращения в Керчь, кочевала. Помню Курск, Харьков, Петербург. Три года прожили во Льгове — достраивалась Северо-Донецкая дорога. В Москве я пролежал несколько месяцев тяжелобольной, после операции в Морозовской больнице; болезнь эта оставила как бы рубец в моем сознании. Однажды мать принесла весть: «Умер Толстой». Я не слышал такого имени, оно поразило меня — не только разговором взрослых, но и само по себе. Впечатления этого давнего, почти бесконечно далекого времени я попытался восстановить на своих «страницах воспоминаний» («Городок», 1973).

У поколения, к которому я принадлежу, и детство и отрочество заканчивались рано. В октябре 1917 года мне не исполнилось и тринадцати. Установление Советской власти в Керчи, вступление кайзеровских войск с гайдамаками, белогвардейщина, жестоко подавленное народное восстание, возглавленное вышедшими из подземных крепостей — каменоломен партизанами, осада каменоломен и утюги английских крейсеров на рейде — никогда не забуду этого.

День за днем запечатлелось лето 1919 года, когда шли бои у акманайского перешейка в 85 километрах от Керчи. Как сейчас вижу — смятение, затем бегство врангелевцев в ноябре 1920 года.

А летом того же года случилось одно из значительнейших событий моей внутренней жизни. Я прочел Лермонтова. Конечно, я читал его и раньше. Но детское чтение

причудливым образом зачисляло Лермонтова в занимательные авторы экзотических путешествий — в Майн Риды Кавказа, что ли. Мне нелегко найти слова, чтобы передать впечатление, произведенное на меня, юношу, поэзией Лермонтова. Восторг? Нет, потрясение всего существа. Перелом отношения к жизни. Даже так — будто всемирная литература раскололась на две части: вся она — в одной, в другой — Лермонтов.

Великие писатели и позднее властно подчиняли себе. После жадного юношеского чтения Диккенса (с чем, однако, конкурировали Брэм, «История Земли» Неймайра, «Происхождение животного мира» Гааке — вся отцовская библиотека «Просвещения», великолепные книги русского зоолога М. Н. Богданова) настала пора Толстого, Бунина, Анатоля Франса, Томаса Манна, Хемингуэя.

Постоянно, особенно в последние годы, возвращаешься к Чехову. Были «полосы» Шекспира, пожалуй — Гёте, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Лескова. Есенинская «полоса». Многократно — горьковская, со всегдашней мыслью: какой бессмертный памятник человеческого труда десятки и десятки этих томов!

Иногда то были отдельные вещи, очень разные. «Первая любовь» Тургенева, «Мистерии» Гамсуна, «Сервантес» Бруно Франка, «Корень жизни» Пришвина (этот первоначальный заголовок кажется мне удачнее, многозначней, чем последующее переименование в «Женьшень»). «Далекie годы» Паустовского. Уэллс не одной фантастики, а и прихотливого романа-проповеди «В ожидании» (точнее — «Между тем» или «Тем временем»; не знаю, как я бы прочитал его теперь) — о великой стачке в Англии, итальянском фашизме маленького дуче и грядущих временах — с центральным символом — Садам, героями — глашатаями авторских истин, великолепными диалогами, человеческими отношениями, сухо и уверенно прочерченными только с помощью прямых и ломаных линий.

Какое-нибудь отдельное стихотворение могло врезаться надолго — щемящее асеевское «Не за силу, не за качество золотых твоих волос...»

А если покинуть литературный ряд, придется сказать о громадном воздействии музыки Бетховена.

Все же то лето двадцатого года осталось в памяти особняком.

Работать я стал с шестнадцати лет, кончив семилетку II ступени. Библиотекарь, но захотелось дела больше «в гуще»: мельница в татарской деревне Аджэ-Эли, рыбные промыслы на косе Тузле, в Холодной балке и Ачуеве. На «дубках» — в штиль и в бурю, выборание мотни громадных волокуш, ловля наживными крючьями черноморских акул, ерики в плавнях, куда рыба заходила метать икру и где стены камыша замыкали плоскодонку в банном, многоцветном, солнечном беззвучии... Насколько беднее внутренне я оказался бы без этого!

В августе 1923 года я уехал в Москву. В полночь с непостижимой теперь для меня беззастенчивой настойчивостью мальчишки я заставил усталого после экзаменов в Литературно-художественном институте Валерия Брюсова выслушать мои стихи. Он предложил поступить в этот свой институт. Однако я устроился агентом по сбору объявлений в газету «Известия административного отдела Моссовета». Я не собрал ни одного объявления, зато редактор В. П. Сергеев, человек, о котором не могу вспоминать без теплого чувства благодарности, сказал: «А вы попробуйте что-нибудь написать». Я написал о черной бирже на Ильинке, очерк-фельетон, это поправилось, и в сентябре 1923 года напечатался в первый раз.

Недавно я попытался вспомнить обо всем этом («В полночь, у Брюсова», 1977).

В 1930 году, больше полувека назад, вышла в издательстве «Молодая гвардия» и первая книжка — «Ламарк и Дарвин». В ней, сообразно с ранними мечтами, литература сочеталась с биологией.

Книги затем выходили почти каждый год.

Еще долго я не оставлял служебной научной работы — преподавал общую биологию в двух высших учебных заведениях, стал старшим научным сотрудником Тимирязевского биологического научно-исследовательского института — там, в качестве ученого секретаря, участвовал в проведении первой Тимирязевской научной сессии, на которой прочитал доклад; занимался историей и философией естественных наук, привлеченный к работе Ассоциации естествознания Комкадемии; публиковал работы, в частности, по эволюционной теории. Но все настойчивее становился на писательскую дорогу.

В 1933 году написан «Победитель планеты» — двенадцать картин, «разрезов времени», научно-фантастическое путешествие в глубь того прошлого земного шара,

когда в жестокой борьбе формировалось существо, чьи потомки обратились в людей, Победителей.

В 1936 году вышла одна из любимых моих книг, переиздающаяся по сей день. Я возвращался к ней не раз. Это «роман одной жизни» — книга об Александре Гумбольдте, получившая название по строчке Шиллера «На горах — свобода!». Книга о человеке, которого сжигала «жажда дали». Простор земли он видел не как сумму педантически скалькулированных элементов, а как живую и прекрасную целостность. Ученый, вмещавший в себе все естествознание своей эпохи, повторив в последний раз «людей-энциклопедий» средневековья, путешественник, о ком говорили: «Он вторично открыл Америку», а во времена Пушкина побывавший в обеих русских столицах, на Урале, Алтае и в Сибири, — Гумбольдт стал основателем новой географии; к ней прибавляли еще слово «эстетическая», чтобы охарактеризовать небывалое качество гумбольдтовой науки...

В 1941 году, незадолго до войны, я был принят в Союз писателей по представлению Б. Н. Агапова, С. Я. Маршак и А. А. Фадеева, тогдашнего руководителя Союза, напечатавшего в «Красной нови», где он был главным редактором, шестую мою книгу «Власть над землей» — о науке, овладевающей законами изменения живых существ, о нашем земледелии.

Все эти годы я пользовался любой возможностью для поездок по стране (командировки, чаще всего по путевкам для чтения лекций). Я бесконечно многим обязан таким поездкам.

Трижды побывал на Урале и в Сибири. Турой и Тоболом проплыл в Тобольск. Это был путь казаков Ермака. Образ его, неизгладимо врезавшийся в народную память, гигантский, песенный, давно влек меня. Беседы с П. П. Бажовым в Свердловске, живые предания, слышанные на казачьем пути, холмы у Тобольска, где стояли некогда городки Кучума, а сейчас, на моих глазах, рушились в Иртыш, разлившийся до края земли, подмытые вековые ели, — все это будто неожиданным светом осветило и приблизило далекий загадочный образ казачьего вождя.

В те предвоенные годы почти осязаемо сгустилась тревога в мире. И стародавнее «потрясенное время» точно

перекликнулось с нашим. Как народный подвиг, без которого не стало бы и нашего сегодня.

В 1938 году я начал роман о становлении русской Сибири. Журнал «Знамя» напечатал его в 1944 году под заголовком «Конец кучумовой державы». А через год роман, уже окончательно названный иначе: «Дорога на простор», выпустил «Советский писатель». В материале романа слышался ответ на какие-то вопросы времени. Но оба первых варианта глубоко не удовлетворяли меня. Впереди предстояла большая работа. И каждое новое издание становилось этапом в ней. Лишь в 1969 году поставлена точка — больше чем тридцать лет спустя после того, как легли на бумагу начальные строки.

Так как в итоге, по общему мнению, «Дорога на простор» стала одним из основных моих произведений, да и тема историческая заняла немаловажное место среди написанного мной, то, очевидно, мне следует сказать, как же я понимаю ее и что такое, на мой взгляд, работа писателя-историка.

«Правда, суровая (горькая) правда», — поставил Стендаль эпиграфом к «Красному и черному». Искусство не игра. Оно позволяет разобраться в самом главном для нас. Писатель обращается к истории, чтобы почерпнуть ответ на остро, неотложно нужное, встающее перед разумом его и совестью, тревогой его души, как сына *своего* времени. Так, в моем представлении, историческая проза не отрезана от современной, но спаяна, едина с ней. Вот почему нет крупного, подлинного писателя чисто исторического — замкнутого, запертого в прошлое.

Не рассказывание баек и анекдотиков, не спекуляция на звонкости темы, не стилизация, не словесные виньетки — но неотступная мысль о поворотах народной судьбы, мысль народная, по Льву Толстому: вот чем жива историческая проза, суть и сердце ее.

Воплощая историю, писатель обязан безукоризненно считаться с твердо установленным. Знаю, бытовало нечто вроде «хартии вольностей» — о праве в «художественном изображении» на «незначительные отступления» и смещения. Нет такого права! Справедливо сказано: «Единойды солгавши, кто тебе поверит?»

Но и обильнейшая документация дает лишь пунктир событий, чем глубже в прошлое, тем реже. Художник опрашивает свидетелей, почти безгласных для диссертан-

та. Живую память народа. Песенную стихию. Летопись, застывшую в камне, в пестром оперении глав, в затейливом кружеве теремов и башен, в чистом сиянии настенных росписей, строгости древних ликов. Самую землю с ее простором, именами мест. Великую драгоценность — язык, хранящий звук веков.

Однако вот выстроены в воображении все, как говорится, реалии. И они мертвы, недвижны. Восковой муляж. Не хватает чего-то. Может быть, штришка, черточки. Как назвать это? Не старым ли простым словом — *поэзия*?

Посольство Ермака прибыло в Москву Грозного.

Что же — казни и крамолы, теснота посадских улиц, нечистый истоптанный снег, стрельцы, сивушный дух у кружал? Но ведь люди *жили*! И не мог я двинуться дальше в своем рассказе, пока не расслышалась в мельтешении толпы у Троицкой площади, про которую в просторечии говорили «на Торгу» или «на Пожаре», а после, на века, назвали Красной площадью, песня слепца:

И говорит:
— Ты рублей не трать попусту —
Не полюблю
Я тебя!

Расслышалась с голосом, напевом (откуда и разбивка строк) — жаль, не принято печатать нот...

Как появился молодой герой романа — казак Ильин? Я нашел челобитье Ильина, очевидно старика, царю Михаилу Федоровичу. Он бил челом, чтобы царь не оставил его в нужде, голоде и великих долгах, не униженно, а гордо выставляя, что двадцать лет «полевал» с Ермаком. Всей «гульбы» такой на Волге могло быть не больше десяти годов — он удвоил, в великую заслугу себе, то, что прежде сочлось бы смертной виной. Малая деталь, и кроме нее — ничего об Ильине, но именно отсюда развернулся, «размотался» для меня характер его.

Я понимал, что отступаю от сложившегося в те годы обыкновения ставить в центр крупную историческую фигуру, вынося имя ее в заголовок. Были тут навсегда оставшиеся удачи — назвать хотя бы «Петра Первого» Алексея Толстого, «Емельяна Пугачева» Вячеслава Шишкова, «Степана Разина» Степана Злобина. Но моя «главная фигура» была не данностью, а той задачей, какую еще предстояло решать, — я должен был оставить себе большую

свободу взгляда со стороны, «снизу», глазами простого, неисторического (и мной созданного) свидетеля; даже имя — Гаврила — я дал Ильину от себя...

Не раз в те тридцатые годы я предпринимал и поездки на юг, в степи Украины. Это позволило написать тоже давно задуманную книгу о земледельческом труде, не старом, безропотно покорном «власти земли», но преобразующем землю. Из «Власти над землей», дважды изданной, в 1940 и 1941 годах, выросла потом та большая книга, которую мне хотелось идейно (и литературно) противопоставить широко известной «Обновленной земле» американца Гарвуда, славящей земледелие своей страны. Я знал, что в предреволюционные годы, в условиях деревенской нищеты царской России, с трехполкой и ковыряющими землю сохами, книга эта играла положительную роль. Но вовсе иными стали советская деревня, советское крестьянство, наше сельское хозяйство.

Удостоенная в 1949 году Государственной премии, моя книга «Земля в цвету» была переведена в нескольких десятках стран Европы, Азии, Америки.

Как жадно вглядывался я еще ребенком в тонкую и твердую, с плавным изгибом линию черноморского горизонта! Пароходы, пришедшие оттуда, из *дальнего плавания*, даже не приставали к пристани. Я видел их каменно-неподвижные, черно-красные громады на рейде. И с замирающим сердцем разгадывал: что там, «за гранью»? Какие дали, какие берега?

Мне довелось проплыть по многим морям и океану, посетить древние и молодые страны Европы и Африки. Так родились путевые повести: «Путешествие в чужую жизнь» (1956—1957), «Опаленные солнцем» (1960), «Укрощение Великого Хапи» (1964). Я стремился добиться, чтобы читатель их как бы сам отправлялся в путь и, ощутив ветер движения на своем лице, сам увидел то, что видят автор и его герои. Землю, как Большой дом человечества. Не мнимую скудость, тесноту «шарика», а неисчерпаемую чудесность земных дорог. И в каждой малой клеточке противоречивую чужую жизнь за рубежами нашей Родины. В этих книгах я пытался дать итог раздумий, не покидавших меня с юности. Что же такое

высоты культуры, каков смысл этого слова? Как соотносится оно с устройением людских судеб, с человеческим счастьем?

Вот почему непрерывным другим планом повестей идет память о Родине, «оглядка» на близкое и кровное — рассказы о доме.

«Укрощение Великого Хапи» — 27-я моя книга. С тех пор прибавилось еще более десяти. Среди них — сборники рассказов и «маленьких повестей» — форма, привлекающая возможностью вместить многое в малый объем.

В рассказах о сердце ли России или о нашем юге для меня всегда присутствовало желание передать ту прелесть родной страны, выше и лучше которой я не видал нигде в мире. Сказать о силе жизни, что сильнее угрозы атомной смерти. И о том, что надо беречь, не расточать, а умножать доставшуюся нам, созданную разумом и руками миллионов наших современников и тех, кто жил до нас, красоту. Врученное нам диво.

Свои книги я вижу как части или главы большой, единой. Думаю, так обстоит дело и у всякого писателя — иначе творчество обратится в калейдоскоп вещей «на случай».

И еще раз хочу подчеркнуть: в литераторов своей комнаты и своего письменного стола мне столь же трудно поверить, как и в такого узкого мастера исторических романов и повестей, который прошедшее, никем не виданное, понимал бы, любил и умел красноречиво пересказывать, а по отношению к тому, что видит воочию, оставался бы слеп и нем.

Да, сегодняшний наш день не дался нам в руки зрелым плодом. Он вырос из того, что было прежде, и весь в движении, в росте. Подпочва, пласты недавнего и давнего прошлого обнажаются не только при проходке метро и подземных уличных переходов. Глубинный разрез составляет кулисы того, что «на сцене». По какому разряду мы зачислим вещь, в которой сделана попытка показать это, — по «историческому» или «современному»? Такой вопрос, как мне думается, может быть задан и о некоторых повестях и рассказах, которые читатель найдет в лежащих перед ним книгах. Это, к примеру, «Неведомая фреска» (1965), «Завтрак в Эрфурте» (1969), «Марьюшка» (1961). Да и весь роман «Песок под босыми ногами», заверченный в 1973 году.

Нет земли без людей, но нет и людей без земли, где им жить и работать. Когда я читаю роман или повесть, где герои переезжают с севера на юг или с запада на восток, автор же просто сменяет этикетки «Курск», «Хабаровск» (подобно тому, как в театре шекспировских времен выставляли плакаты «лес», «морской берег», «замок»), мне становится нелегко следовать за героями. Я убежден в неповторимости, а не взаимозаменяемости обликов мира — как и в безграничных возможностях, открытых для человека, чем и обусловлено, подкреплено право на человеческое счастье. Я убежден в том, что природа «природная» и природа «рукотворная» гораздо плотнее входят во весь строй нашей жизни и ярче окрашивают ее, чем полагаем мы сами.

Почетный, громадный долг нашей литературы — всему миру показать лицо Родины, создать книги, которые частица за частицей складывались бы в то, что давно я называю поэтической географией ее. Как бы мал ни оказался твой взнос, радостно сознавать, что и ты стремишься участвовать в выплате такого долга.

Цикл южных рассказов вплотную подвел меня к роману «Песок под босыми ногами» — главной моей работой последних лет. В центре романа, как и двух других («Дорога на простор», «На горах — свобода!»), как и некоторых меньших вещей («Звонок в дверь», «Повести о бессмертных судьбах»), — то, к чему с юношеских лет настойчиво возвращался мыслью. Что значит *высота* человеческой жизни? Жизнь должная и недолжная? Как идет человек к высшим своим достижениям — накал, горение, без которого не оставишь и малой зарубки в памяти людской, — что они такое? Выбор пути, чтобы раскрыть в себе и дать все, на что способен, — и лукавые развилины, куда так просто, так незаметно можно соскользнуть...

Назову это проблемой судьбы большого человека.

«Песок под босыми ногами» закончен в начале семидесятых годов — прошло достаточно времени, чтобы на кое-что в нем невольно взглянуть, так сказать, посторонним глазом.

И при этом заметишь неожиданную перекличку с героем другой книги, об Александре Гумбольдте, «На горах — свобода!». Когда пишешь, ни о чем подобном, разумеется, не думаешь...

Говорю «неожиданную», так как что же общего между этими двумя людьми?